



М. А. ДМИТРИЕВ

**О противниках и защитниках
историографа Карамзина**

Писано по случаю замечаний на Историю государства
Российского, помещаемых в Московском Вестнике ¹

Comment serait-on tenté de travailler
pour l'avenir dans un siècle où l'on ne se sou-
vient presque plus du passé?

Ancillion *

Статья первая
О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ВАЖНЕЙШИХ ОБВИНЕНИЙ

Многие говорят и пишут против Карамзина; некоторые, разумеется, немногие, говорят и пишут в его защиту. Сии противники и защитники разделяются очень явственно на две совершенно противные партии, так что кто ни начинает говорить о сем писателе — всякий вправе полагать о говорящем, что он непременно принадлежит к которой-нибудь из сих партий. К которой же из них принадлежу я? — Ни к которой, потому что обеими недоволен; а желал бы принадлежать к партии здравого смысла, что не всегда и не всякому удается.

От чего происходят сии две крайности? — От того же, от чего происходит всякая крайность: мудрая середина принадлежит тому только, кто держится собственных сил своих; один он не сбивается с пути своего; ибо знает его и, будучи тверд на ногах, не имеет нужды ни за что держаться. — Крайность есть всегда

* Как можно пытаться работать на далекое будущее, если мы почти не помним о прошлом? *Ансильон (фр.)*.

признак или слабого неразумия, или самонадеянного невежества! Возьмите ее в чем хотите: в общественной жизни, в литературе, в учености, везде причины ее одни и те же! — Те же причины двух крайностей и в суждениях о знаменитом нашем писателе.

Постараемся доказать это, сперва относительно противников Карамзина, а потом относительно его защитников.

Просвещение наше стоит теперь на той точке, на которой мы не можем уж довольствоваться вопросами решенными; а вопросов, предлагаемых самими же нами, мы решить не можем по недостатку основательного учения. Мы стыдимся уже быть учениками, которые верят на слово своим учителям; а чтобы исследовать самим, для сего нужны силы, которых мы не имеем. Прибавьте к этому самолюбие, неразлучное с полупросвещением! Что должно происходить от подобного состояния? — Конечно, не мудрое сомнение Декарта;² а нерешимость, чувство, самое неприятное для самолюбия и самое беспокойное для разума! — Если б мы не были нетерпеливы и не привыкли быть скоропелками, то, чтобы выйти из сего состояния, мы бросились бы учиться: нет! Мы хотим учить, чтобы обмануть других насчет нашего незнания.

Вот одна из главных причин всех неумеренных требований наших от литературы, всех непонятных изъяснений романтизма и большей части выходов против Истории Карамзина!

Далее. — Заметим два разных признака совершенного невежества и полупросвещения. — Невежда всему дивится; полужнающий боится показать удивление свое даже к предмету достойному, чтобы не подумали другие, что ему все в диковинку, и от этого чаще порицает. — Вернее гораздо, думает он, сказать, что это дурно: по крайней мере, подумают, что я видал лучше! — Таким образом во времена Сумарокова³ иначе не умели хвалить, как восклицаниями: наш Расин!⁴ Наш Лафонтен!⁵ Наш Мольер!⁶ — таким образом ныне боятся хвалить и достойное: отдать справедливость Карамзину, значит для многих *удовольствоваться* его Историей, выказать себя непонимающим ни Герена⁷, ни Гердера⁸, которых испытательный и всеобъемлющий ум (хотя они мало между собою сходны) признан Европою! Но, скажут, разве нельзя последовать старинному правилу (*suum cuique* *) и отдавать *всякому свое*? — Это всего труднее! — Чтобы поставить каждого из писателей на принадлежащее ему

* каждому свое, т. е. каждому то, что ему принадлежит по праву, каждому по заслугам (*лат.*).

место, надобно взойти на ту высоту критики, на которой стояло их искусство, или их творчество, или их ученость! А мы или судим неопределенно, каким-то общим образом, употребляя со всем готовые приговоры, или щиплем автора по мелочам и торжествуем, что такое-то пятнышко не ускользнуло от нашей пронизательности! Это ли пронизательность высшей критики?

Говорить ли о зависти? Я не могу поверить, чтобы сие чувство было в противниках Карамзина! Чтобы завидовать кому-нибудь, надобно иметь что-нибудь с ним общее! Ставлю себя на место сих критиков. Они занимаются историей, я литературою; но, право, степень, на которой мы стоим, еще не такова, чтобы нам иметь на такое право соперничество! Офицер может позавидовать другому, получившему повышение, но как ему завидовать полководцу, получившему триумфальный вход в столицу! Стараться достигнуть до степени, дающей это право, — это другое дело! Но уверять благородный народ в незаслуженности сего триумфа и выставлять себя соперником победителя — это просто карикатура! — Есть такая высота, на которой все нас видят, и мудрено тут разуверить зрителей.

«Однако, скажут мне, разве не позволено по правилам военного искусства разбирать самые славнейшие подвиги полководцев? Прочтите книгу Жомини⁹ о великих военных действиях...». Согласен! Но ни один еще критик Карамзина не сказал нам, чего он от него требует как от историка; ни один не разобрал его истории систематически и ни один не оказал в сих разборах того уважения, которого вправе требовать сей писатель, может быть, и от потомства, не только от нас, современников (я говорю о соотечественниках), ни в чем ему не равных.

Может быть, назовут это требование пристрастием. Нет! Кто требует суда, того нельзя подозревать в пристрастии! — Но нет ли пристрастия самого благородного, просвещенного пристрастия к славе народной? — Мы, русские, кажется, невиновны в этом! — Мы и не космополиты: но мы привыкли не уважать ничего к нам близкого, точно так, как русский ремесленник говорит без всякого размышления: *где нам сделать против немцев!* А если когда и вступимся за честь имени русского, то также без всякого убеждения, как тот же ремесленник говорит иногда, не подумавши: *да чем мы хуже иностранцев?* И в том и в другом случае крайности, происходящие от недостатка просвещения!

Странное дело! У всех народов Европы, при первом развитии их умственных сил и талантов было пристрастие ко всему собственному; они выходили из сего пристрастия тогда только,

когда узнавали нравственные силы других народов, и тогда освободясь от сего пристрастия ко всему собственному, заменяли его уже уважением к своим писателям! — Таким образом, французы долго думали, что ни одна европейская литература не может сравниться с их словесностью; Буало¹⁰ смеялся над мишурой Тасса¹¹, Вольтер¹² над Шекспиром: ныне они пользуются с жадностью талантами и ученостью англичан и немцев; но сохраняют какое-то священное уважение к своим Расинам и Босюэтам!¹³ Немцы переменили совершенно систему своей словесности: поэты-идеалисты заменили у них совершенно стихотворцев-подражателей; но они уважают и Галлера¹⁴, помнят даже и Клейста!¹⁵ — Мы, напротив, беспрестанно забываем все старое, совсем не отдаем справедливости современному, бросаемся на все, ничего не уважаем по убеждению, а по большей части уважаем только то, что до нас дошло по слуху. — Так точно мы уважаем Шеллинга¹⁶ и Окена;¹⁷ так точно нам кажется легко написать историю, как написал ее Карамзин! Хотя Карамзин считает потомство еще не веками, а годами; но мы для него потомство, потому что по юности нашей литературы и учености у нас нет еще вековой славы! Чего же ожидать тем, которые захотели бы вперед пройти по этому поприщу? Не к стати ли здесь привести слова Ансильона:¹⁸ *Quelquefois, mieux on apprend à connaître ses contemporains, plus on devient indifférent aux jugements de la postérité; la génération actuelle était la postérité pour ceux qui travaillaient il y a quelques siècles; il y a dans cette simple réflexion de quoi dégriser un peu les amants de la gloire!**

Но в чем обвиняют Карамзина (словесно или письменно) как историка?

1. *Что он писал историю, а не критику летописей; что полезнее было бы собрать летописцев и очистить их критикой, нежели прямо писать историю народа.*

Что полезнее, это другое дело! Но кто вправе требовать от меня не того труда, который я сам предположил себе, а другого, которого я не обещал публике? — Не все ли это равно, что обвинять поэта, зачем он пишет свои поэмы, не удостоверившись прежде, который род лучше? Не все ли это равно, что обвинять Батте¹⁹ и Аста:²⁰ зачем они писали теорию искусства, не

* Иногда, чем лучше знаешь своих современников, тем безразличнее становишься к суду потомков, ведь и современное поколение было потомками для тех, кто работал нескольких веков; в этом простом размышлении есть чем немного отрезвить любителей славы (фр.).

явившись прежде публике в роли Лагарпа²¹ и Лессинга;²² или винить Винкельмана²³, зачем он вместо того, чтобы написать историю художества, не занялся прежде отдельным разбором и оценкой каждой древней вазы, каждого камня? Мне возразят с некоторою справедливостию: *comparaison n'est pas raison!** Знаю! Но, по крайней мере, повторяю еще, *никто не вправе от меня требовать труда, несообразного с моим намерением!* Дело в том, как написал Карамзин Историю и далеко ли он шагнул вперед против своих предшественников; а не в том, как далеко мог бы шагнуть он! Мы видим, что иностранные известнейшие историки не все писали по одному плану, ибо не все предположили себе одну цель. Герен писал не так, как Юм²⁴, Сисмонди²⁵ не так, как Робертсон;²⁶ Барант²⁷, в своей Истории герцогов Бургундских, употребил даже все средства романиста — и неблагодарные соотечественники, несправедливые иностранцы, не обвиняли его за удовольствие, которое он им доставил; а пользу измеряли целию. Карамзин сделал великое дело: он заставил читать русскую историю тех, которые ее до того не читали, а может быть, и своих порицателей.

2. Обвиняют Карамзина в недостатке системы и единства.

Требовать сего систематического единства можно от истории такого народа, который достиг, если не крайней цели политического существования, то, по крайней мере, высокой степени развития моральных сил своих. Тогда историк берет за основание настоящую точку бытия его и постепенно раскрывает в повествовании те средства, которыми он дошел до сей точки; а настоящая степень образованности и политической силы разрешает, наоборот, все вопросы, встречающиеся в деяниях его народа. Но какой народ описывал Карамзин? Народ, который, и в настоящем его положении, при всей его силе, при всем перевесе политическом не достиг еще до крайнего развития сил своих, народ, который не имеет собственных понятий о философии; наконец, такой народ, который большую часть своего существования не действовал, а провел под влиянием неотвратимых обстоятельств! Что остается разрешать историку, когда он не видит еще суммы всех последствий? Ему остается быть разве пророком; а это едва требуется от деэписателя! «Он, говорят некоторые, не объяснил системы уделов». Ее не было! Она состояла в двух словах: или в добровольном повиновении Великому Князю, или в своеволии князей удельных! Это была не та правильная феодальная система, где государь имеет свои права, а

* сравнение не доказательство (фр.).

вассалы свои, где все члены необходимо зависели от главы, а глава от членов и где они составляли одно тело! Во время уделов каждый князь действовал или наудачу, или сообразно частным своим выгодам; а наконец рушились все связи между ними. — Как же объяснить систему, которой не существовало? Но где можно было видеть *по частям* причины и последствия, там Карамзин не подлежит сему упреку: например, последствия власти татар (т. V, гл. 4), политика Годунова, состояние России во время самозванца описаны им не только как историком красноречивым, но как историком-наблюдателем!

3. Недостаток соображений политических.

Сношения, бывшие у России с другими государствами, описаны Карамзиным всегда вместе с их причинами и последствиями. Вот едва ли не все, что можно требовать от историка России, изображающего те времена, который прошел наш историк. Те, которые требуют от нас всеобщих политических видов, забывают, что во времена, им описанные, не только в России, но и во всей Европе не было тех сношений между народами, которые мы называем ныне собственно политическими, а все сношения были, более или менее, частными и случайными; ибо до XVI века не существовало политической системы. Для России же не существовало оной до времен Петра Великого; ибо сношения русских царей с Европою (не исключая и сношений Годунова) не входили в общую систему. Может быть, под сим упреком разумеют другое: желают видеть единство внутреннего политического хода России. Но политическое направление ее всегда зависело от воли государей, которой весьма препятствовало всеобщее направление Европы, с коей Россия не имела ничего общего и которая обращала на Россию весьма мало внимания, как на народ полуварварский, не вступавшийся в ее дела и не возмущавший ее спокойствия. Историк времен Петра — был бы виновен, если б справедливо подвергнулся подобному упреку.

4. Недостаток всеобщего философического взгляда.

Философическая история возможна тогда, когда ход сего народа отражает в себе некоторым образом ход человечества. Отдельная история может быть философическою едва ли не тогда только, когда народ действовал в связи с другими и что-то прибавил к общему ходу человечества. Русская история не представляет сего наблюдательному взору дееспособного. Народ русский, отделявшийся от Европы не столько местным своим положением, сколько вероисповеданием и неотвратимыми бедствиями, сперва бывший под властью татар, потом страдавший от междоусобий, не участвовал ни в каких важнейших перево-

ротах Европы. Феодализм, Крестовые походы, схоластическая ученость Средних веков, открытия, преобразовавшие и дух европейских наций, и политическую их систему и подействовавшие на их просвещение, не существовали для России. Все народы европейские шли впереди самыми бедствиями; мы, напротив, и политически, и морально почти все стояли неподвижно; по сей причине и ныне еще мы не можем сравниться просвещением с Европой. Вот почему наша история мало прибавляет к философической истории народов. Что можно было историку-философу соорудить на сем основании?

Но анализируем идею философии истории, чтобы яснее ответить на несообразность подобного требования.

Было время, когда думали, что философия историка состоит в общих философических размышлениях о человеке и о том народе, который описывает историк, в размышлениях, которые он помещает кстати в тех местах повествования, где предмет может допустить оные. Например, говоря о бессилии народа, историк размышляет о расслаблении нравов, гибельном для человека, для народа и вообще для человечества и является философом-моралистом. Таким образом, описывая известный анекдот об Аристиде²⁸, который, выслушав вверенное ему тайное предложение, сказал: «Афиняне! Вам предлагают дело полезное, но бесчестное!» И описывая, как афиняне отвергли сие предположение, историк видит в сем возражении афинян честность нравов, ручающихся и за силу народа. Он сравнивает сии простые нравы с изнеженностью персов и понимает, каким образом малочисленный народ афинский мог побеждать несметные полчища Ксерксовы²⁹. Из сего выводит он истины, полезные для всего человечества. Но это не есть философия, требуемая ныне от историка, когда самая история получила объем обширнейший и вошла в состав наук политических, а не есть уже наука памяти.

Нет! Истинный философ-историк должен, наблюдая ход отдельного народа в собственной его истории, наблюдать в нем ход человечества, то есть: открыть, что прибавил он к усовершенствованию человека в политическом и моральном отношении, как выдерживает он борьбу моральной свободы с законом необходимости, или, по крайней мере, на какой точке сей народ стоит между другими народами, современными той эпохе, которую описывает дееписатель. Если он будет выводить только общие результаты, тогда он будет философ, но не историк; если он будет выводить только частные причины и последствия деяний, хотя бы даже и соображая их влияние на другие народы

и обратно, тогда он будет историк-политик. Нет! Он должен видеть сей народ отдельно в независимом его существовании и в то же время видеть его в связи с другими народами и в то же время видеть в нем человечество. Тогда он соединит в себе историка, политика и философа, из которых каждый рассматривает народ особенным образом и все наблюдения соединяет в одной идее. Вот истинная философия истории!

Но того ли требуют от нашего историка? И можно ли требовать сего, еще повторяю, от истории народа, столь недавно получившего образованность и столь мало участвовавшего в общем ходе Европы? Можно ли требовать сего от истории, которая не доведена была писателем до важнейшей ее эпохи, до эпохи соединения ее с историей европейскою, до той эпохи, которая одна может представить результаты вопросов, таящихся в недрах прежнего существования русского народа?

Таковы важнейшие требования от историка Карамзина и важнейшие против него обвинения, то письменные, то словесные! Но успокоимся. Не многие делают нашему историографу подобные упреки, даже скажем, *немногие избранные*, может быть, потому, что самые сии требования при всей их несправедливости, предполагают уже нечто более, нежели простую прихотливость критики, и некоторую высшую степень созерцания, чуждую нашим журнальным Аристархам³⁰. Вот и их обвинения:

5. Неверность в своде и изъяснении летописей.

Отвечать а priori * на сей вопрос невозможно: должно исследовать почленно самые критики, точно так же, как в сих критиках разбирается История государства Российского: ибо распутывать труднее, нежели запутать. Сей труд принадлежит тем, которые посвятили себя основательному и подробному изучению летописей: я не посвящал себя сему многотрудному изучению, братья не за свое дело не люблю, ибо не желаю подражать рецензентам истории государства Российского ни в одном моральном их качестве. — Но как верить сим рецензентам, видя то *нехладнокровие*³¹, с которыми они пишут свои замечания: состояние души, не ручающееся за беспристрастие. Как верить им, видя, что они, укоряя писателя, имеющего неоспоримое право на их уважение, сами без всякой осторожности себе противоречат? Не приведу более одного примера; ибо не хочу защищать укоризнами человека, который при жизни своей платил за них великодушным молчанием. Вот пример сей.

* из предшествующего, на основании ранее известного (лат.).

Г. Арцыбашев в 19 и 20 № Московского Вестника на странице 292 говорит: «Впрочем, не надобно думать, чтобы историк наш пользовался всеми без изъятия древними временниками: знаменитая *Лаврентьевская летопись*, например, ... не участвует в его произведении». А на странице 308 он же говорит: «Если б дееписатель наш, *воспользовавшись Лаврентьевскою летописью*, не пренебрег Радзивилловской, то он не осмелился бы, может статья, употребить страннозвучия!» Там ставит в вину Карамзину, что он в своей Истории совсем не пользовался Лаврентьевской летописью; а здесь, что он ею воспользовался. Не видимое ли это противоречие? Если же г. Арцыбашев сбивчиво выразился (чего однако ж нельзя предполагать, ибо по смыслу речи и по словосочинению русскому противоречие очевидно), то я советовал бы ему, не вступая на трудное поприще критика, прежде поучиться по-русски; а поучиться бы у того же Карамзина. Мы увидим впоследствии, что это нужно.

Статья вторая О МЕЛОЧНЫХ КРИТИКАХ

Еще обвиняют Карамзина (кто поверит этому?) в несовершенстве и недостатках слога и в неправильности языка! — Всякой, кто наблюдательным образом рассматривал язык русский и знает его основательно, а не из одних творений кн. Щербатова и Елагина, увидит сему две причины: или неблагонамеренность, или невежество; а других быть не может! Возьмем для примера некоторые места из тех же замечаний г-на Арцыбашева, который является тут уже — языкоучителем. Вот его замечания и вот мои в опровержение оных.

По заглавию Истории государства Российского следовало бы думать, что сия книга принадлежит нашему отечеству!

Что разумеет под сим г. Арцыбашев? Да! История России, писанная русским и по-русски, принадлежит, конечно, нашему отечеству: сомневаться в этом значит оказывать какое-то *простодушие* (naïveté) совсем не авторское! Возьмем противную сторону положения г. Арцыбашева и выведем подобное заключение. — Вот что выходит: «Если бы история России имела другое заглавие, то следовало бы думать, что она не принадлежит нашему отечеству!» Вот образец логики!

Но г. Арцыбышев изъясняет свое положение если не логически, то по крайней мере примером, и ясно доказывает только, что *comparaison n'est pas raison!* — Эти примеры находятся

в примечании — и здесь кстати заметить, что примечания составляют у г. Арцыбашева сильнейшую часть его диалектики. Везде, где только он не сладит с языком и мыслию, тотчас, чего не смог вставить в текст, договаривает в примечании! И вот его примечание:

Известно, что в русском языке родительный падеж после имени существительного означает принадлежность; а слово История, или повествование, требует имени в падеже предложном с предлогом о или об.

Первое, конечно, известно, что родительный падеж означает принадлежность не в одном русском языке, а, думаю, во всех языках, по крайней мере, в тех, которые мне известны; ибо причина того, что сей падеж означает принадлежность, заключается не в свойстве русского языка, а в общих законах языка человеческого, на коих основана всеобщая грамматика! Всем нужно было найти выражение, или формулу двух слов, находящихся между собою в отношении принадлежности, и всякий народ выразил оную по-своему, а потом условились назвать эту форму падежом родительным. — Отношение принадлежности, сопровождаемое действием, выражается на всех языках дательным падежом; а отношение принадлежности между двумя существительными без посредства глагола выражается на всех языках родительным падежом. Чем же г. Арцыбашев хочет доказать противное? Вот чем: «Француз конечно скажет: *Histoire de l'empire de Russie*; англичанин: *the history of the Russian Empire*; италианец: *la storia del Imperio di Russia*; немец: *Geschichte des Russischen Reichs*; но русский должен сказать: *История о государстве Российском*». — Да, но почему же должен? Неужели потому, что хочет этого г. Арцыбашев? А другой причины не вижу, потому что это слово *должен* не доказано предыдущим.

Г. Арцыбашев переводит слово *История* словом *повествование*: перевод ничего не доказывает. Я переведу сие слово другим: *дееписание*, или *бытописание*; тогда увидим, что должно сказать повествование *о России*, а дееписание или бытописание *России*. Почему же греческому слову *История*, переводимому равно правильно сими тремя терминами, принадлежит непременно падеж, свойственный слову *повествование*, а не словам *дееписание* и *бытописание*?

Напротив, ежели мы будем следовать употреблению (введенному временем), то заметим, что у нас хотя и употребляется иногда после слова *История* падеж предложный, но только говоря о лице, а не об народе, и то по большей части в одних сказ-

ках, как-то: *История о Еруслане Лазаревиче, История о Петре златых ключах*; а говоря о народах, ставил сие слово с предложным падежом только Тредьяковский и его последователи: *История о Мидянах, о Персах, о...* и проч. — И этому должно учить г. Арцыбашева? А он хочет учить Карамзина!

Но обратимся к логике г. Арцыбашева. Вот еще образец оной: *Расположение ее (Истории Карамзина) занято, кажется, от Юма: она разделена также на главы, пред началом коих выставлены краткие перечни без означения тех страниц, где описано какое-либо происшествие.*

Последуем сей логике и докажем по тем же признакам, что расположение *Истории Карамзина* взято не из Юма. Например: «*Расположение ее занято, кажется, из Телемака*:³² она разделена, так же как Телемак, на главы, пред началом коих выставлены краткие перечни без означения тех страниц, где описано какое-либо происшествие!» Или употребим ту же логику в отношении к критике г. Арцыбашева: «*Критика г. Арцыбашева, кажется, занята из Тилемахиды*:³³ она также разделена на главы и также испещрена примечаниями!» Это (желал бы я сказать г. Арцыбашеву) называется в логике заключением от части к целому и таковые заключения почитаются в числе софизмов! Из сего следует, что ваше заключение о заимствовании расположения *Истории Карамзина* от Юма (как заключение от части к целому) есть софизм, или заключение ложное; а кто заключает ложно, тот не знает логики; а кто не знает логики, того доказательствам в предметах учености верить не должно: из чего следует, что вам как критику не должно верить! — Сие заключение мое правильно и называется соритом³⁴.

Слог в истории государства Российского хотя более провозглашательный, нежели исторический, но местами довольно ясен, плавен, неподобозвучен, и проч.

Что такое слог провозглашательный? Он не существует. Да и существовать не может; ибо провозглашение относится к голосу, к возвышению и понижению оно; а слог зависит от состава речи: так-то г. Арцыбашев понимает значение слов языка русского, он, который берется судить о слоге первого нашего учителя! — Что касается до того, будто у Карамзина слог *неисторический*, то надобно бы доказать это: таким образом не обвиняют и обыкновенных писателей! И какое же имеет право порицать без доказательств слог знаменитого писателя такой человек, который сам не имеет еще никаких прав на звание писателя, человек, который не доказал своими сочинениями, знает ли он сам, что такое искусство слога! — Но всего забавнее

г. Арцыбашев открывает нам, что слог Карамзина *местами довольно ясен, плавен*: как видно, что он (как новичок в искусстве писать) и обрадовался этой ясности, как какой-то новости, и по неопытности не доверяет своему открытию! — Но он говорит, что слог Карамзина *местами только плавен*: он образец плавности, который даже не мог приискать другого слова вместо своего *неподобозвучен!!*

И мог бы (слог Карамзина) назваться отличным, если бы не встречалось в нем чужеземных выражений, также множества слов напыщенных, язвительных и лишних проименований!

Посмотрим, что разумеет г. Арцыбашев под чужеземными выражениями. Вот что: *сия великая часть Европы и Азии!* — «Зачем тут *сия?*» говорит критик: французу свойственно написать: *cette grande partie de l'Europe et de l'Asie*. — Вот образец логики: *сия* делает все выражение французским, потому что у французов есть *cette*, выражающее то же. Что по-русски *сия!* Нет, г. Арцыбашев! Вы слышали, что есть галлицизмы, и слышали, что некогда укоряли Карамзина в галлицизмах; но что такое галлицизм, вы не знаете: и потому позвольте объяснить вам. — Галлицизм есть выражение, свойственное единственно языку французскому, не выражающее ни на русском, ни на другом каком-либо языке того смысла, который имеет оно на французском, или выражающее неопределенно. Но *сия великая часть, cette grande partie, dieser grosse Theil*, на всех языках выражает одно и то же, и на всех равно определено! Ежели, например, выражение: *c'est un méchant auteur*, я переведу по-русски: *это злой сочинитель*, вместо *это плохой писатель*: вот это будет галлицизм, потому что прилагательное *méchant* принимает в сем выражении смысл особенный, не правильный и присвоенный только употреблением, смысл, которого, может быть, это прилагательное никогда ни на каком языке иметь не будет! — Вот это галлицизм!

Говоря о множестве слов напыщенных, г. Арцыбашев не выписывает их, а указывает на том 1 Истории государства Российского страницу 21 ниже 8 строки. Отыскиваю сию страницу и нахожу следующее: «Сам Юстиниан³⁵, Совет верховный и знатнейшие вельможи должны были с оружием стоять на последней ограде столицы, стене Феодосиевой, с ужасом ожидая приступа славян и болгаров ко вратам ее. Один Велисарий³⁶, поседевший в доблести, осмелился выйти к ним навстречу; но более казною императорскою, нежели победою, отвратил сию грозную тучу от Константинополя» и проч. — И это г. Арцыба-

шев называет напыщенностью, то, что всякий другой, имеющий понятие о красоте слога, назвал бы ясною, красноречивою страницей! Впрочем, судя по собственному слогу г. Арцыбашева, нечего удивляться, что язык Карамзина кажется ему в превратном виде: чему удивляться, если какому-нибудь новгородцу кажется чудным и изнеженным очищенный язык москвитянина! — Мы снисходительны; не так, как г. Арцыбашев!

Но отгадает ли читатель, что разумеет критик под выражениями *язвительными*? — Вот они: «Святослав мог исполнить свое *безрассудное* намерение». «Блуд³⁷ назван *изменником, злодеем, извергом, предателем*». — Но намерение Святослава перенести столицу на берега дунайские было точно безрассудно; ибо, во-первых, внутри государства столица безопаснее; во-вторых, и государю легче образовать свое государство, находясь в центре оно, а Святослав, перенеся свою столицу, был бы отделен стенами от своего государства! — Неужели критик *не понял*, почему это намерение было безрассудно? А если понял, то как же было назвать его? И что тут за наблюдение вежливости к Святославу? Не смей сказать об нем всей правды! Блуд *был* изменник: Карамзин так и назвал его. Неужели до той степени отнять свободу у историка, чтоб он не смел прямо произнести суда своего и говорил с запинкою и полувыражениями! Ясен ли и страшен ли будет тогда суд истории, сей наставницы мира, сего судилища царей и народов! — Сам г. Арцыбашев бережливо ли отзывается о Карамзине, укоряя его, например, без всяких доказательств в *суесловии*, о Карамзине, который столь недавно еще оставил землю, что многих сердца оскорбятся неуважением к его памяти!

Наконец *лишними проименованиями* называет г. Арцыбашев таковые выражения: *мужественный Олег*³⁸, *славный воевода Свенельд*³⁹, *знаменитый подвижник, гнусный любимец, легковверный государь*! — Стыдно подумать, о чем надобно упоминать человеку, который пишет критику на первоклассного писателя! — о что делать? — 1) Это не *проименования*, то есть не прозвания, присвояемые лицу во всем повествовании, а эпитеты, или прилагательные. 2) Эпитеты ставятся не для красоты слога, но для того, что они помогают памяти читателя, заключая в себе главную черту, отличающую действующее лицо от прочих. — Вот почему они нужны, ежели они сообразны главному понятию, о том лице составленному; а что нужно, то не лишнее.

Еще нападает г. Арцыбашев на выражение Карамзина: *цветущее изображение греков*. — «Что за цветущее изображение?»

Говорит он: такие новоизобретаемые речи без истолкования не понятны!» Скажем за тайну г-ну Арцыбашеву, что такие новоизобретаемые речи, называемые языком метафорическим, современны древнейшим народам мира; истолковал их первый Аристотель⁴⁰, а впоследствии начали их толковать во всех Риториках⁴¹, к которым желающему и можно обратиться.

Из сего образца может видеть читатель, каким образом обвиняют Карамзина в недостатках слога и понимают ли, *что такое слог*, строгие судьи его!

И вот главные пункты, на которые опираются противники Карамзина и в чем винят его, иные письменно, иные словесно; но читатели видели также, как слабы их основания.

Теперь следует сказать о неблагонамеренности критиков Истории государства Российского, и на что ходить далеко? Мы найдем образцы оной в той же критике г. Арцыбашева.

Чем обнаруживается неблагонамеренность критика? — 1) Обвинениями без доказательств; 2) Привязками к мелочам; 3) Неуважением к личности автора и забвением заслуг его; наконец 4) Критик оказывает явно худое намерение, когда приписывает автору то, чего не находится в его сочинении, или берет из одного отдельно какое-нибудь место, которое объясняется предыдущим и последующим. Все это находится в большей части нынешних критик и все находится в рецензии г. Арцыбашева.

Первое я доказал уже. Докажем остальные признаки его неблагонамеренности и будем опять рассматривать собственные слова его; ибо подобный анализ есть именно сильнейшее орудие против тех рецензентов, которые сами его избегают.

Он (Карамзин) начинает даже историю государства Российского повествованием о цветущем воображении греков и пр.

Здесь г. Арцыбашев просто склепал на Карамзина, что он *повествует* о воображении греков. Карамзин в 1 главе своей истории не повествует о воображении греков, а говорит о недостаточных сведениях греков о древних народах, населявших те страны, которые ныне занимает Россия. — Почему он говорит именно о греках? — Потому, что греки были первый образованный народ, оставивший письменные сведения, к которым должен обратиться всякий историк, говоря о народах, не имевших еще в то время своих письменных памятников. Говоря о баснях, выдуманных греками, Карамзин хочет только показать читателю, что он не имеет права требовать от историка основательных сведений о народах, населявших в древности те страны, которые после названы Россиею. То есть, как будто он говорит читателю: «Одни и были греки, которые оставили нам

известия о древних северных народах Европы; но они так мало знали сии страны, что предания их суть ничто иное, как басни, изобретение которых объясняется цветущим воображением греков, склонными к изобретательности. И об этом он упоминает мимоходом! — Значит ли это повествовать о цветущем воображении греков? И что же это, если не с дурным намерением отдельно взятая фраза, дабы представить Историю Карамзина в превратном виде!

*Такие излишества поместил даже и князь Щербатов, только в введении к Истории, им сочиненной*⁴².

Видят ли читатели, что здесь г. Арцыбашев оправдывает князя Щербатова⁴³ именно в том, в чем обвиняет Карамзина? И чем же оправдывает? — Только тем, что князь Щербатов поставил в заглавии слово *Введение*. Но разве у Карамзина I глава не есть тоже введение, а уже *самая История государства Российского*? Г. Арцыбашев, конечно, знает, что история наша начинается с Рюрика⁴⁴, и если бы он не был несправедлив к Карамзину, то понял бы, что собственно История начинается у него с главы IV; а первые три суть введение. Он, который выдает себя за такого знатока русской истории, не с намерением ли притворяется здесь столь несведущим даже о том, с чего начинается наша история?

Дойдет ли, например, очередь до нашествия татар на Россию, то г. историограф силится писать подвиги Чингисхана; коснется ли речь до вступления Тамерлана⁴⁵ в наши юго-восточные пределы, то вся почти история о сем завоевателе явится пред взоры читающего.

Карамзин приступает к описанию *важнейшего* происшествия российской истории: нашествия на Россию целого народа. Нужно ли было сказать, откуда взялся сей народ, от чего он усилился и сделался народом воинственным? Причина сего последнего заключается в характере Чингисхана и его подвигах, которые заставили целый народ повиноваться ему и идти вслед завоевателю: следовательно, в одних подвигах и характере Чингисхана заключается весь воинственный дух сего народа, дотоле платившего дань чужому государю; следовательно, описание прежних подвигов Чингисхана необходимо для того, чтобы читатель понял, отчего вдруг вздумалось монголам напасть на Россию, — часть истории Тамерлана также необходимо входила в описание нашествия его на Россию. Надлежало сказать, что Тамерлан не имел намерения напасть на Россию, а погнался за Тохтамышем;⁴⁶ тут читатель вправе был спросить: кто же Тохтамыш и зачем Тамерлан погнался за ним? — Вот и завязка

нашествия на Россию, которую историку не иначе можно было развязать, как представив в краткой, но полной картине причину погони за Тохтамышем; а причина сия заключается в описании подвигов Тамерлана. И вот как должен смотреть на отдельные части истории какого-либо народа тот, кто хочет представить в связи его историю; а не сидит над мелочным кропаньем, над извлечением из той странички летописей, которая под носом! — Одна сверка чисел и поверка букв труд полезный, но еще не показывает объемлемости ума, нужного для историка: и потому трудолюбивый изыскатель, который беспрестанно копается в пыльных списках летописей, напрасно думает, что он много значит в области ума исторического. Он может готовить материалы, открывать ошибки историка; но не может указывать ему, как должно писать историю. К таким изыскателям и критикам можно применить стих Шиллера, сказанный им о комментаторах Канта: *Wenn die Konige bau'n, haben die Karrner zu thun!**

Что касается до неучтывого выражения г. Арцыбашева, что *г. историограф силится описывать*: то скажу ему, что по красноречию Карамзина не заметно, чтобы он *силился*. — Его язык не есть сухая номенклатура годов и чисел и не есть язык сухих примечаний.

Такое суесловие наскучивает особенно в описании басен и собственном мудрствовании сочинителя нашего, что не редкость в его произведении.

Вот одно из тех мест, которые, по моему мнению, доказывают неуважение к личности автора и к его заслугам; одно из тех мест, о которых сам издатель «Московского Вестника», просивший дара⁴⁷ от г. Арцыбашева**, сказал, что *в его замечаниях есть несколько выходов, лично относящихся к Карамзину и писанных как будто бы не с хладнокровием!* Слово *суесловие* значит *вздор*; понравилось ли бы г. Арцыбашеву, если б я сказал, что он пишет *вздор*? — А еще было бы сказано о г. Арцыбашеве, а не о Карамзине!

Благодарим г. историографа, что он удовлетворил наше любопытство, дав знать нам некоторые важные рукописи; но и надобно бы ему еще описать их подробности и проч. Другие к объяснению старинных новообретенных рукописей приложили даже образцы оных и тем оказали более уважения к читателям.

* Когда короли строят, нужно много чернорабочих! (Нем.)

** Надеюсь, что читатели не примут здесь слова *дар* за *дарование*.

Опять то же требование, то есть: чтобы Карамзин писал не то, что хотел, а то, что было надобно, по мнению критика: и опять тот же ответ мой: никто не имеет права требовать от писателя не того труда, который он предположил себе! — Дело в том, *как* он исполнил труд свой. — Г. Арцыбашев требует, чтоб Карамзин вставил в свою Историю, или приложил к ней, образцы рукописей: это труд особый, который не мог входить в состав правильного создания, каковым должна быть История. — И без того, по словам издателя «Московского Вестника», Карамзин совершил подвиг исполинский, и я употреблю его же сравнение: это значит требовать от Фидия⁴⁸, чтоб он сам выламывал мрамор и возил его! Пусть всякий берет труд по своим силам и способностям; пусть выламывают и возят мрамор г-да Арцыбашевы, а в будущее время сделают из него статую все-таки Карамзины!

Есть из них (из примечаний и выписок) такие, кои показывают только желание блистать умом или казаться глубокомысленным.

Надобно бы доказать это! — Чтоб судить о глубокомыслии другого, надобно быть самому глубокомысленным; а творения г. Арцыбашева, состоящие все из примечаний, не показывают сего! Часто случается, что мы не признаем глубокости потому, что сами способны только обозревать поверхностно: так многие, лишенные чувства изящного, не признают одного в других. — Ум поистине важнее терпения, которое, вопреки Бюффону⁴⁹, бывает, если не по большей части, то, по крайней мере, часто, уделом людей обыкновенных. Если бы астроному и не удалось наблюдения, то все он не заслуживает насмешки, и все труд его заслуживает больше уважения, нежели труд работника, который чистит его телескопы! — Вспомним при сем случае слова Стародума из Недоросля: «*В человеческом невежестве утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь!*»⁵⁰

Сим прекращаю замечания на статьи г. Арцыбашева, предоставляя впрочем себе (если представится к тому случай и если — важное условие! — если я не устану от роли учителя логики, грамматики и нравственной юриспруденции) — и впредь выводить на чистую воду и умозаключения и намерения г. критика. В лице его я показал достаточно все признаки неблагонамеренности, несправедливости и незнания критиков, вооружающихся против великого писателя и вводящих своею смелостию в заблуждение тех читателей, которые или доверяют всякой критике, или не доверяют самим себе, или не принимают труда исследовать читанное. Печать положена: отныне их узнают.

Статья третья О ИСТИННОЙ КРИТИКЕ И ИСТИННОМ ЗАЩИЩЕНИИ

Может быть, некоторые горячие противники Карамзина, или, по крайней мере, нехладнокровные (каковым издатель «Московского Вестника» назвал г. Арцыбашева) почтут самого меня пристрастным и не сохранившим того нейтралитета, которым я начинал первую статью мою. — Признаюсь, я не мог видеть равнодушно ни мелочных придирок к великому писателю, ни тех (скажем мягче) *неправедных* средств, которые употребляют его противники, в намерении унижить его заслуги перед обществом, что касается до моего беспристрастия, то последующее должно уверить в оном публику, хотя бы и захотели уверять ее в противном.

Я не требую безусловного поклонения Карамзину и, думаю, никто из людей, уважающих его по собственному убеждению, не может сего требовать: напротив, сии люди желают, чтоб и другие уважали его не из привычки, не из подобострастия, а по убеждению. Но дают ли средства к сему убеждению те критики, которые, открывая ошибки историографа, не только не открывают в то же время и истинного достоинства его, но стараются всячески затмить оное, употребляя к тому все непозволительные способы, доказанные мною, как-то: и сокрытие истинного смысла приводимых ими мест из Истории, посредством отделения их от предыдущего и последующего; и самую правильную логику, если не доказывающую их собственного незнания, то употребляемую с намерением; и выходки даже против слога сего писателя, доказывающие только, что они сами не знают языка русского; и, наконец, укоризны в суесловии, в недельности и тому подобные, доказывающие неуважение, доходящее почти до явного пренебрежения! Так учат публику мало-помалу забывать заслуги историографа! И принимая в соображение употребляемые к тому средства, я не могу не думать, чтоб все это не было с намерением.

Скажут, что публика сама может взвешивать и мнения критиков и достоинство истории. — Не будем себя обманывать! Публика везде публика, везде доверяет первому впечатлению; а у нас, может быть, еще более, нежели в государствах просвещенных. Кто не видал из нас, что, читая дерзкую выходку журналиста против какого-нибудь писателя, читатели наши тотчас берут сторону нападающего, так, без размышления, одним решительным словом: *посмотрите, как он его отделил!* Вот что опасно для писателя в суждениях публики и вот на что полага-

ют всю свою надежду мелочные разбиратели Истории государства Российского. — Если б они не имели в виду сего намерения, а хотели выводить из заблуждения людей, занимающихся историею, или хотели, очищая сомнительные вопросы, облегчить труд будущих историков: то они были бы хладнокровнее.

«Но, скажут еще мне, какая нужда унижать с намерением знаменитого писателя?» — А чувство досады на свою неизвестность? Представьте себе, что я сидел десять, двадцать лет на одном месте, рылся в летописях, открыл много полезного для науки — и все, по роду труда своего, известен только *некоторым*; другой в то же время успел пожать плоды трудов своих, успел скучные изыскания облечь в форму, предлагает на суд уже не труды, а *творение* — и имеет дело уже не с некоторыми, а с *публикой*. — Нельзя, чтобы к первому не вкралось какое-то чувство, говорящее ему как будто о несправедливости судьбы; он видит сию несправедливость даже и в том, что природа одному дает таланты, а другому в них отказывает. Напрасно думают, что всего приятнее потрудиться для потомства: до сего самоотвержения доходят тоже разве одни гении; похвала современников — обольстительна!

В том только не предполагаю сего чувства, кто, как ученый изыскатель, рассматривает терпеливо труд великого писателя, сличает летописи, объясняет их, выводит заключения и совершает полезный подвиг свой с хладнокровием, приличным важности предмета; а не горячится и не бранится подобно мальчику, пишущему в первый раз журнальную статейку!

Пользу истории как науки я ставлю выше славы Карамзина, хотя уверен, что едва ли возможно повредить славе его! — Основываясь на сем желании пользы, я хотел бы, чтоб были в России многие комментаторы на его историю, многие сличители и объяснители летописей, и тем более уважаю подобные труды, что они в наше время мало представляют выгод известности и обогащения. Пусть каждая строка Истории Карамзина, каждое слово летописей и хронографов будут рассмотрены, но с духом терпимости, при помощи прямой логики и при светильнике истинной критики, не отдаляющейся от прямого пути для того, чтобы удовлетворить какому-нибудь мелкому чувству униженного самолюбия. Требую для Карамзина *строгих критиков*: но *противников* его никогда не признаю достойными уважения.

Теперь слово о *защитниках* сего писателя. — Но что сказать о них? Их так мало, они так робки и безгласны, что почти совестно говорить *против* них: однако ж справедливость того требует.

Странная участь сопровождала Карамзина во все продолжение его авторского поприща; но это участь людей необыкновенных! С самого начала до конца оно ему всегда больше вредило подражатели и поклонники, нежели самые решительные критики и порицатели. Вспомним о множестве вялых чувствительных путешественников по России*, явившихся после Писем русского путешественника, столь занимательных и красноречивых; вспомним о множестве плаксивых сказок, написанных в подражание бедной Лизе: во всем этом винили не бессилие подражателей, а Карамзина, как будто он виноват в том, что силою таланта увлек за собою множество бесталанных почитателей. Вспомним, напротив, о том времени, когда один комик написал комедию, в которой представил карикатуру, снятую с сих подражателей, и которую, однако же, он метил на самого Карамзина:⁵¹ долго ли она забавляла публику, и какую? — На язык Карамзина были написаны томы: и эти томы еще более утвердили язык его между писателями. — Таким образом, и теперь, когда об его Истории никто из критиков, так сказать, *не скажет доброго слова*, ему вредят не столько сии критики, сколько или *безгласность* его почитателей, или тот *способ*, которым берет его сторону.

Противники Карамзина разделяются на два рода: 1) на *изыскателей*, которые неумолимо роятся в летописях, чтобы найти что-нибудь или к пользе русской истории, или против сего писателя; сих людей, чтобы убедить в чем-нибудь, надобно тоже преследовать неумолимо и тем же оружием, т. е. указывать пальцем на страницы, на годы, на числа, на азы и проч. Для большей части из них (не для всех однако) нет доказательств логических, а еще менее можно убедить красноречием и чувством сих людей, почитающих за излишнюю роскошь все, что не покрыто пылью и не пахнет гнилью. — 2) на *крикунов*, которые сами не читают ни Истории, ни рецензий на оную, а верят всегда журнальному заглавию: *Критика*, и на кого написана критика, тот у них и виноват. Эти противники сами собой отстанут, когда увидят сильный отпор первым.

Итак, вы хотите *защищать* Карамзина? — Сличите места критик с источниками историческими; докажите на деле, что не правы критики. Если вы не имеете к тому достаточных сведений, признаться в этом не стыдно, ибо не всякий посвящает

* Исключая, по всей справедливости, Путешествие в полуденную Россию г-на Измайлова, где много исторических воспоминаний, замечаний о нравах и описаний, занимательных для читателей.

себя одному и тому же роду знания. Но для вас как для защитников великого писателя остается еще обширное и благородное поприще: уличите его противников *логически* в несправедливых их нападках на сего писателя по части *неисторической*, как-то: в их незнании языка, в их несправедливости, в незнании логики, в слабости их доказательств, в *неравнодушии*, не похожем на беспристрастие, и проч. и проч. Поверьте, они не столь сильны, чтобы могли противустоять *доказательствам*: это заметно потому, что они сами слабы в сей важнейшей части критики, чему я показал не один пример в сем рассуждении.

Но вы говорите им и, может быть, красноречиво о заслугах сего писателя, о уважении, которое должны хранить к нему благодарные соотечественники? — Как убедить их напоминанием о *заслугах*, которых не признают они? Как говорить о уважении тем людям, которые, увлекаясь своею запальчивостью и неудовлетворенным самолюбием, забывают и то уважение, коим обязаны к самим себе и к своим читателям! — Надобно им доказать еще, что Карамзин *оказал заслуги*, что он *заслуживает уважение!*

Еще менее выиграете вы в мнении публики и еще вернее подадите против себя оружие, ежели будете требовать, чтоб из уважения к историографу ничего не говорили об нем: тогда и те, которые не были явными противниками стороны справедливой, будут подозревать ее, если не в неправости, то по крайней мере в слабости! Впрочем, я не думаю, чтобы могли найтись такие партизаны между истинными почитателями заслуг славного сего писателя! Я не почел бы даже нужным говорить об этом, если бы недавно не было напечатано в «Московском Вестнике» (№ 21 и 22, с. 186) Письмо к издателю⁵², которое оправдывает мои увещания. Впрочем, я готов усумниться даже в достоверности письма сего и думаю, что оно написано или в насмешку над требованиями безусловных поклонников, или одним из самых отважных противников, с тем, чтобы удалить истинных защитников правого дела, представив их заранее со стороны для них невыгодной, или для того, напротив, чтобы дать повод сказать предварительно мнение против всех возражений, коих могли бы ожидать статьи г-на Арцыбашева.

«Но нужно ли защищать Карамзина?» скажут некоторые из холодных его почитателей или из жарких его противников: «Если вы считаете его выше критики, то критика не может повредить ему». — Я буду отвечать *первым*: Нет, милостивые государи! Я не считаю сего писателя не подлежащим истинной критике; ибо подобное совершенство не принадлежит человеку.

Пусть находят недостатки в его Истории, там, где есть они. Ни один из самых ревностных его почитателей, если он рассудителен, не оскорбится указанием на сии недостатки; но всякий должен оскорбляться тем неуважением, которое оказывают к целому труду его, тою непритворною радостью, которой не могут скрыть сии критики при малейшем пятне, найденном ими в труде его! — Что касается до возражений *вторых*: *будто тем менее должно защищать Карамзина, чем более мы уверены, что критики несправедливы и что они не могут повредить ему* — то отвечаю им следующим: Ваша неумеренность, г-да порицатели, переходит все границы: молчание истинных почитателей только что ободряет вас! Я понимаю, что вы желали бы сего молчания; но оно также может ввести в заблуждение публику, как вводит ее в заблуждение крик ваш. Итак, истинные, беспристрастные почитатели заслуг сего писателя *не должны молчать, должны* вам противиться, *должны* защищать его!

Но при сей горестной уверенности невольно рождается следующее размышление, которым и заключаю статьи мои.

Когда Карамзин начинал писать Историю, с полной уверенностию в важности своего дела, с благородною недоверчивостью к своим силам (ибо я знаю, что он не скоро уступил сему намерению); когда он писал ее, наслаждаясь и трудом своим и надеждою принести пользу своим соотечественникам, посвящал безмолвно сему тягостному труду лучшие лета своей жизни, которые другой с его талантом употребил бы на ежедневное легкое приобретение литературной славы; когда он совершил, наконец, большую часть труда своего и предложил его России, в ожидании по крайней мере благодарности, предложил его тем же, которые некогда восхищались его прекрасными безделками: думал ли он, что через два года после его смерти нужно будет *защищать* его?

